

И день стерся, подобно тому, как стирается, встает буна-та на стгах, которую носишь в кармане, позабыв давним-давно, что выбросить можно, вышвырнуть за ненадобностью. Вместо дня — прорубь зияет, снежок редкий, весенний светится.

Все она у меня в уме вертится, из голоса нейдет прорубь та. Вода темная, тяжелая, и дурью покачивается. Сбоку соленый огурец в лед вмерз. Закроешь глаза, а он тут как тут. Хоть криком кричи! Вспору по шее полоснуть — не было бы только этой дыры, не было бы соленого огурца, вмерзшего в сослагательные льды, и низких серых перьев, что стелется по небу от края до края.

А подчас думаешь: ну, полоснешь, ну, уймешь кровь, ну, откроешь глаза — а прорубь никуда не денется, проклятая, и я никуда не денусь! Лезвие... туман...

Нет, в самом деле, что же это такое! Почему не обратить взор вспять и не возвратиться во времена, когда... когда... Что когда? Не волнуйся, ^иначни еще раз, ты сказал; посмотреть назад и увидеть... Что ты увидишь? Выпей вина, так... это вода, вино — в другом стакане... ну? Не заставляй себя идти, ну, что ты видишь? Что это там? Хорошо, не надо. А левее? Не упрямься, не думай, что ты какой-то особенный, у всех все было... Что? Погромче, пожалуйста.

Да так, ничего любопытного, просто картинки, картинки. Разбитое колено и вдруг (откуда только?) — благоухающие слиззми присы, густые сине-лиловые омуты на жестких, мясистых, как бы пыльной присыпанных стеблях, от которых отделяются незамет-

но, отходят узкие и такие же, в сухой пыльце, листья,

или пробуждение ночью — царь-крес, бредущий в лилиях пурпурных, — оттого, что во мне поняла: не только дождь в саду, в вышних одичавших журчит, как несколько часов назад, когда засыпал, и целый день (а за обедом, как из ведра, хлестал по тополям, кленам за забором — видны их черные, эмальной новью заросшие стволы, напрсти в красноватых зернах), а что-то еще есть, что-то появилось еще, чего не было, и надо поскорей перебрать все в уме, коснуться всего: и дождя, полившего вскоре после того, как пробило на часах в столовой одиннадцать; затем обед и первое дуновение — что-то будет, что-то произойдет, казалось, случится; или не казалось, а теперь кажется, хочется, чтобы казалось тогда, хочется, чтобы во всем была стройность, порядок, и каждое событие предваряло бы следующее, не кончаясь, а то, в свою очередь, было бы лишь залогом будущего, только будущего, только залогом.

И потому, перечислив все черты, приметы, оттиски в полусонном сознании, можно было пританцоваться и знать, что день длится по-прежнему, и продолжаться ему ровно столько, сколько мне находится в постели, оттягивая последний миг, когда нужно будет подняться и войти в столовую, а там увидеть, как в щели между неплотно прикрытой дверью и полом — свет, а дальше, за дверью, в большой комнате яркий белый ослепительный свет, словно кто приехал, и голоса совершенно чужие, непривычные; но не надо уже, чтобы они были привычными, потому что голоса — те, которых ждал и жду, лежа в постели, стоя у двери, поднимая пальцы на босих ногах.

Например, запахи. Тот запах, который вел по темным комна-

там и который невозможно выдлить из тяжелых теней музыки ночного дома, когда весь день и ночь напролет льет, не переставая, дождь, и угасает позвоночник в тихой спине.

Так приезжала мама из дальних стран. Близких стран. И отец приезжал из стран далеких, близких, или он возвращался к нам из стран далеких, близких, или ничего этого и в помине не было — утверждала Соня — ни осажених коленей, ни прикованных под окнами в серебристой росе сока, ни матовых припавших стеблей.

Путаница, однако, в голове неимоверная, отчаянная. О чем я хотел сказать? О знаменах? Нет, не о знаменах. Что мне знамена!

Вон глаз чей-то. Теплый. Такой прекрасный, милый; и руки лежат на коленях, и платок перстниной в цветах мутных, беспокойных на пол спадает, и стены жилища моего — пока стены, но не туман, дым; и течет кровь наша путями до того простыми, до того известными, что изумлена душа, опуская долу свой взгляд. Нельзя пропадать. Да и можно ли исчезнуть? Что огурец, знамена, прорубь! Побирушка моя, нищенка... врачок смуглый, пепел развешенный.

Понудобней вот устроюсь, нога затекла — погоди — и дальше, дальше... тетя Вера не хочет покупать шляпу, напоминающую шляпы китайских кули.

А о китайце, который снился мне ежегодно, в день солнцеворота, я расскажу потом, когда буду рассказывать о любви, о самом страшном сумасшедшем доме на свете, о Соне и птице Пон.

Китаец, как и подобает китайцам, был вполне нем. На плече у него сидел небольшой ангел с крыльями из тончайшей рисовой бумаги. Крылья стрекотали на ветру, китаец стоял в пустынном перекрестке неизвестных мне, вымощенных солнцем улиц и протягивал с невыразимой мукой на лице, протягивал, протягивал толстую истрепанную книгу, мучившую листами.

И, главное, не спешить.

Не торопиться, говорил я, когда плелся мы на Васильевский остров с приятелем по солнечной стороне улиц. На Тучковом мосту я глянул в воду. Изумленным блеском ударило по глазам. Радужные пятна мазута переливались на подрагивающей поверхности. Чайки бились в воздухе, тиснено пытались лететь против ветра. Их сносило, вымывало в поднебесье, и они падали к воде, принимались к ней. Было много всего: воды, мазута и ветра. Мы замедлили шаг. Я глянул в воду.

Важно не спешить, сказал я себе, не торопиться. Прошито много славных дней. Пролетана большая работа по развеществлению. Не хотелось бы унывать и чудные летние дни, когда по-настоящему был счастлив. Птицы поют, муравьи ползут, опустив ноги в воду, болтаешь ими, и рот откроешь от восторга — так всё бесцельно, так божественно-бессмысленно. А после — полдень, купанье, брызги стрекоз на сонной слюде двойного воздуха, солнце всходит с разных сторон, тысячи солнц восходят из-за холмов, поднимаются из долины, и вихри по склону вниз, и тошнота брызнувших стрекоз. И тень соскребу с глины и пушу по ветру. Зара... Вечер. И завтра все снова. И ночь есть — что тебе радует.

Если повезет, то ночью бываешь не один. Впрочем, ночью всегда ладно. Дамы с Московского вокзала, ступающие в ясную погоду в неизменных резинковых сапогах, аристократично-презрительные "бомжи", иные наркоманы с неизменяемыми подругами, у которых руки-не руки, а трава подводная, горькая; ангелы бесполые с отеками глазами и со злобой на губах, осведомители из 55-го, музыканты, идиоты в хитроумных одеждах, зрители и просто так разные — командировочные, на сон грядущий воздух с в е-м и я глотающие над вонючими канализациями, — и царь натянул лук, и стрела устремилась, жужжа, как миряда пчел над лилиями, и смерть устремилась вслед стреле, не отставая, как тень от луча, — много народа не находит покоя после заката солнца, а если солнце и вовсе не садится? Свеча моя, ноченька, свеча бездымная, яркая!

И ее имя тебе уже привычно, и ее затылок тебе привычен, и знакомы плечи, живот, ноги... не теперь, в прошлых рождениях, разумеется, возлюбил я друг друга, но сегодня солнечной соленой ночью, узнала тебя душа моя.

Назавтра все снова. И вот, как сейчас, когда плетется мы по Сыздговской линии, можно считать плывущие под веками красные пятна. Можно на обочине сидеть и ждать машину, а машина долго будет увеличиваться в размерах, покамест из блуждающей точки на сетчатке не превратится в самую что ни на есть настоящую машину, а в машинах возят камень, бревна, сельдь, дрова, тильпаны и пиво.

Но и без пива, уверяю, можно сидеть на обочине. Славно!

Я говорю, что в конце концов все усилия наши направлены на то, чтобы достигнуть этой безмятежности, чтобы не отравляли тебе

бития соленые огурцы во льдах, чтобы брести этаким бубнящим идиотом по солнцу, смотреть на него, слепнуть почемногу. И не спешить, не бежать, сломя голову, неведь куда, неведомо зачем.

Вокруг так хитроумно все устроено, что глупо будет думать, будто ты — единственный, кто может как-то повлиять на ход судеб или, тем паче, на свою собственную судьбу. Вадор, вадор...

Передко кажется тебе, возможно, снится, что вот это ты уже видел. Вот это и это и это, и того человека видел, знал его, был с ним знаком, нас что-то связывало, разлило (но что — забыл, и напрасно морщишь лоб, припоминая, кто он, мелькнувший в толпе... Рудольф? Майор? Отец?..) Не надо. Бесполезно. Он ускользает от тебя, похожий на кого-то, наделенный лукавой тайной сновидения, исчезает, как отражение на воде, сдернутое порывом ветра. Тут разное можно предположить. И склонен я думать, что эти люди, попадающиеся на пути, суть ты сам, иначе откуда тоска? Почему ты бесечно не продолжаешь идти своей дорогой, а рвешься, бежишь следом, заглядываешь в лица, мчишься вдогонку, очертя голову, и дикие цветы безумия вспыхивают на губах?

Что ты лепчешь? Ты ли лепчешь? Зачем ты кричишь? Какая война? Какие знамена?

И об этом не думай. Войны кончены. Знамена истлели.

Не торопись. Надлежит лишь вглядываться в ослепительные покровы и бездумно надеяться, что к последним рубежам подошли, а далее ничего нет и не было. И не одиночество страшно, как можно было бы предположить, не одиночество, — оно вроде как искупленным желанием дано, милостью свыше, в виде некоего времени, какого еще не знали (или забыли, как младенчество забывая-

ем) - а страшно то, что не знаем, как поступать с этим даром, несущим нам право отказаться от собственного имени во имя и и - ч е г о, очень долгого и и ч е г о, после которого, быть может, и суждено понять, что и и и ч е г о, и ряд звуков, склеенных беспечно дыханием, которыми тебя окликают, и предощущения, и память: все одно и то же - ослепительные покровы, граница: за которой, будто в чудовищном выпуклом зеркале, зришь и других, и себя в повседневных заботах, в повседневной боязни, в повседневной скорби, к которой (тоже не страшно) попривыкли и забыли... но не бессмысленность движет тобой и ими, другими... но что? История - выберу первое попавшееся под руку слово, хотя оно невразумительно, криво, бесформенно, это слово для сумасшедшего дома, эта основа монологов, обращенных к многоуважаемому икну.

Вот и я вглядываюсь в чей-то сияющий глаз и понять не могу, почему еще не утро, почему еще не ночь, не соображая ничего в сухом шорохе снега. Пути снежинок пересекаются, расходятся, опять сходятся, а казалось, произнеси тысячу раз слово "нет" - и наткнешься в результате на то, что не подвластно этому слову, и тогда не просто надежда, но уверенность неизбежная войдет в сердце, и не нужно будет тяготиться именами, угадывать в них ложь, лукавую тайну сновидения. Снег повалил. Осенний снег сух и горчит жаром.

Нежданно-негаданно пошел снег. Предчувствую в скором будущем появление китайца с ангелом на плече. Почему, кстати, мы ни разу не вспомним о них, понесших самое страшное поражение этого века? Плакали мы на высотах Тибета, плакали на стене Великой.

Небо чисто, солнечно, сухо. Иногда реки глубоко уходят на века в землю, и не видно их; и города, выросшие на берегах их, приходят в упадок, неуклонно разрушаются, мелеют ладьи, языком, — Китай такой же рекой ушел в небытие. Сухое солнечное небо, немного синевы, пыль снежная затаит, иней. И неожиданно снег — крупный, влажный. Но о нем не так, как раньше, — не так слышишь, идешь не так, смотришь не так; и сколько снежинок, покачиваясь, опадает с мертвого дерева неба, столько же слов, сродни снегу, медленно уходят, минуя мою память, туда, на дно, где лягут в покое.

Правда забавно? Заглянуть бы на это дно. Не там ли следует искать истоки времен года? Возьмем, например, апрель. Студеный, гулкий, выветренной бесцвотной свечой стоит; и у ней бьются мотыльки нашего дыхания. Благоуханные мотыльки, сирадные мотыльки. Реки всенят льдом. Позванивают реки рыбами. Гремит воздух от края покуда еще безгласных птиц — возвращаются вестники Эреба... Первыми слышат они наступление неизъяснимых перемен.

Стало быть, надо полистать календарь. Узнать, что за время наступает, узнать, как говорить о нем, что принесет оно, что заберет. Но и так знаешь, что принесет. А что заберет?... Предугадать нетрудно. Угадай, не ошибешься.

Готовься, сии полковника. Час пробил. Стекут края проруби, подхватит лисей вода и умчит за синие горы, черные леса.

Но терпение, говорю я, терпение. Медленно, неторопливо движемся мы, следуя надменно во всем птице, привязанной к шее.

Ну, а песток, разве неприятно поболтать? Род твой славен и богат, повсюду распростерлись его ветви... Откуда это? Неважно. Дальше. Я слушаю тебя со вниманием, приличествующим безделью.

нику и ягуну. Кто, как не они, несёт бремя понимания мироздания? Кому, как не им, выслушивать тех, кто хочет высказаться!

- Обрати внимание, - замечает мой спутник. - Вот та женщина... вот она, в пестрой юбке... и сандалии, да? Она вышла замуж за американского консула.

- Ты ее знаешь?

- Приходилось, - многозначительно произносит спутник. - Кстати, она не глупа (с какой стати?). Теперь она уезжает. И мы никогда ее не увидим. Эх! - вздыхает он сокрушенно. - Эх, эх, нам бы... - и не договаривает.

- Ты высоко ценишь кстати умных женщин, - говорю я.

- Но она, правда, не глупа!

- Ну, подойди к ней, - говорю я. - Тебе же хочется. Подойди.

- Ты думаешь, это удобно? Им с ней долго не виделись. Ах, черт возьми!.. И все исключительно по моей дурости. Потом... она почему-то думает, что я - свинья, хотя так, как я к ней относился, никто... Да я тебе, по-моему, рассказывал. Ее знакомая однажды, помнишь, в мастерской мы сидели, ей сказала, что я... Слово забыл. Не помнишь?

- Она почти ушла. И ты никогда ее больше не увидишь, - говорю я. - Потерпелось.

- Секунду, я вот только расскажу тебе, почему она обозвала меня свиньей. Притом во всем виновата она сама, а я даже не знал, совсем не подозревал, в чем дело. Понимаешь?

- Беги! Смотри, как она быстро шагает!

- Мне неловко, - произносит он и оглядывается.

- Если человек уезжает навсегда, - говорю я, а солнце ро-

ится у меня в глазах, и оранжевые мухи копошатся, безвольно оседаю над крышами и синим куполом запущенной церкви. — Если человек уезжает навсегда, — повторяю я, — Если...

— Ладно, — решает он. — Ты не уходи без меня. И сейчас, нигом.

И он, прыгая среди прохожих, настигает женщину в пестрой рубке, касается ее загорелого локтя, останавливает. Забилась, задергалась лента немого кино, застрекотали картинки.

От нечего делать я разглядываю женщину. Она молода. На вид ей не больше двадцати шести... Но лето! Что с нами делает лето! Загар, воздух... Ей не больше тридцати. Она вышла замуж за американского консула, думаю я, а почему не за ирландского? Почему не за меня? Я тоже консул.

Тяжелые, угрюмые когорты дипломатов выстроились передо мной. Вот они, соль и жупел милого жульничества, — обязательные, меланхоличные, деловые, внимательные, вежливые, готовые в любую минуту протянуть руку помощи. Ей протянули руку помощи, думаю я. На левой руке у нее платиновый браслет. Консулы не дарят медных браслетов. Если бы консулы дарили медные браслеты своим невестам, никто не пропивал бы золотых и платиновых в Нижнем Тагиле. Ее браслет еще не пропит, замечаю я, мой приятель знает это, но ему неловко, видите ли, он стесняется от стыда.

Еще сумка из светлой замши, какая-то майка, под которой лежит нескато грудь, и сквозь желтую ткань видны сосны. Розоватое ухо, прядь рыжих волос. Они направляются ко мне, вот что я вижу оттого, что мне нечего делать.

"Плохо, — с внезапной тоской думаю я, — как плохо"...

Они не поменяют мне, они не смогут мне помочь, они не разбу-

дят спящих слуг, но отчего так плохо?

— Познакомьтесь, — приятель цветёт от счастья. Его простили, с ним поздоровались и не называли свиньей. — Это Вера, моя старая знакомая. Кажется, я тебе говорил о ней.

— Вера. — И не громко, и не тихо, и не быстро, и не медленно называет она свое имя.

— Вот, — говорю я. — Ага... Очень приятно. Вы, правда, выходите замуж? Так вот оно что!..

— Какой ты болтун! — притрагиваясь к уху, говорит она моему приятелю, да пальцем грозит вдобавок.

— Правда, — это уже мне говорят и волосы убирает за уши.

— А правда, что вы выходите замуж за американского консула?

— Правда, — отвечает она. Веки у нее чуть припухшие.

— А консул не напарит? — спрашиваю строго, даже безжалостно.

— Нет. Мы познакомились с ним на пушном аукционе, где я зарабатывала деньги на поездку к тете. Тетя у меня с "тараканом", — усмехается она, — У нее никого, кроме меня, и она капризная. То ей это, то ей другое, то ей подай шляпу китайского кули, то меня. Я не могу без тети, и тетя без меня никак, — закончила она. Я усмотрел в ней высокомерие. И у приятеля как-то ненужная фамилия. Я вспомнил, что его фамилия Амбракевич. Утром у меня болело сердце.

— Куда мы пойдем? — спросил я. — Не век же стоять тут! Вера возьмет нас с собой. Да? Но имя счастья, Вера, прихвати-те нас куда-нибудь, где под полосатыми маркизами даст ледяные напитки, и чтобы женщины в кисейных платьях...

- На голое тело, - лихо подхватил Амбражевич, но в тот же миг смик. Наверное, про свинью вспомнил.

На него иногда находит нечто вроде просветления, и я его люблю в такие минуты, когда он в неописуемом упоении заливается винтом, и его уже несет в полную тягу, и не остановить его: сколько прекрасной чуши, сколько восхитительной глупости обрушивает он на собеседника! Увы, за последние месяцы все реже и реже становлюсь я свидетелем его душевного волнения. Годы берут свое.

- А куда бы вы хотели? - сухо спросила Вера. Как видно, ее не тронули наивные и чистые мечты о полосатых маркизах, прокладительных уладах и летнем бессмертии. А всему виной некий консул. Не будь консула, не будь жениха - куда бы она делась?

Вера презрительно и недоуменно покачала плечами.

- Тогда в мастерскую, - поглядывая на меня, предложил робко Амбражевич. - Если, конечно, нам некуда пойти, отметить событие... - продолжил он. - Мы, стало быть, в мастерскую направимся. Ну как, идет?

- Что идет? - спросил я - Кто идет?

- Ко мне или не ко мне, выбирайте!

- Отмечать событие? - спросил я. - Отпраздновать?

Вера приняла ему на помощь:

- Ну да, мы столько не виделись! И не в моих правилах...

- Ну и событие! - перебил ее Амбражевич совершенно хамским образом.

- А не надо было будить меня утром. У меня сердце болело, - сказал я.

— Ишел к черту. Меня это не касается, — сказал Амбразевич и вытаскил сигареты. — Так и будем стоять?

— Пойдите... — рассеянно, мило, скромно, с корзиной плетеной, подол муслинового платья справив. Стерва. — Пойдите, и скорее. Мне потом надо позвонить в консульство, а потом, господи, еще в ОМВР, к маме звезать, телеграмму тете дать. Сколько дел! А вы, шалопан, представления не имеете, что такое дела. Говорят, там все что-то делают, делают...

Они пошли. Я сзади пошел. Постепенно терял их из виду. Последнее, что до меня донеслось, были слова Амбразевича:

— Вера... зайти ко мне, ну, конечно... да? Он покупает? Надо, чтоб покупал... он Ермакова купил? Нет?... Странно... Вера... с утра, до одиннадцати, всегда у себя.

Я ускорил шаг.

— Нет, он не такой, каким ты его представляешь, — се услышал. — Ты думаешь, что он толстый потный старик, изнемогающий от похоти, с желтыми прокуренными усами? Глупый, он не такой, совсем не такой. Молодой, худой... Знаешь, есть люди, напоминающие пернатых, но не птиц. Понимаешь, он не совсем птица, но многое такое... У него мама в штате Цинциннати. Недавно кончила Гарвард, а это не шутка. У них вся семья кончила Гарвард. Он еще и по-русски толком не говорит, а ты — Ермакова купил!

— Какая мама! Какой язык! — издали всполохнулся Амбразевич. — Живешь не требует знания языка. Тут цвет, если хочешь; архетип, наконец, вера... творчество это молитва... судьба... и... слияние...

Их затерла тетка с корзиной огурцов. Тетка надвигалась на меня двуполом божеством полудня.

И тут, в крепости, как раз ударила пушка. Был полдень.